бы после антракта быстро и страстно разыграть последний — четвертый, который и у самого Чехова был приписан позже.

Оперно-балетный балаган этой "Чайки" — не просто умирающий на глазах, давно умерший мир. С решимостью изощренного художника (а надо сказать,

что Лебл — прекрасный график) режиссер надевает на всех дам белые буклированные парики — и они превращаются то ли в красавиц с полотен рококо, то ли в примадон немого кино, все как одна похожие на главную куклу этого зачарованного театра — Аркадину.

Мир пьесы кружится в фантастическом водовороте, слова и вещи оседают в нем хлопьями, точно в перенасыщенном растворе. Плач Аркадиной, отмеченный в ремарке, или выстрел Константина, подобно "Чайке", начинают жить своей, отдельной от персонажей, жизнью.

публики, полные восхитительного хаоса и самых неожиданных фантазий, после антракта наступают резкий перелом, на который может отважиться по-настоящему большой режиссер: в ослепительно белом покое умирающего Рима, с картонной коллоидной и постаментом, где уходит из жизни Сорин, разыгрывается таинственная и прекрасная мистерия смерти.

Треплев в блестящем исполнении Радека Голуба — внезапно и рано надорвавшийся мальчик с безжизненно повисшими кистями рук, магическим образом превращается в подстреленную им птицу. Не Заречная, а он сам становится жертвой этого выстрела. Любовь, отчаяние, сила и агрессивность Нины, слабость и женственность Кости, трагическая безнадежность любви, которую безжизненные руки Кости не могут удержать. Магическая красота чеховского языка, чашею приходящая к нам из чехского, свежее и сильное чувство, которому нельзя не подчиниться, белая прозрачная пелена смерти и вызывающе черная, без парика, с рыжими волосами Нина — все это делает четвертый акт Лебла одним из самых сильных и совершенных театральных созданий.

Но жемчужиной этого удивительного спектакля стала Нина — Барбора Грзанова. Это редчайший дар, позволяющий ей работать на грани жанров и состояний, свободно соединять иронию, гротеск и трагическую мощь. В первом действии она подобна эксцентрической кукле, послушно повторяющей самодовольные, выморочные ритуалы людей. Зато финал вводит ее в круг сильнейших трагических актрис. Ангелом любви и силы входит она в белый покой умирающего Рима, отвоевав у него право на собственную судьбу.

Ей дана сила выражать, и она станет прекрасной актрисой. Но в отличие от Кости, она так и не узнает, что выражать уже больше нечего, что с этого мгновения театр начнет отнимать у нее жизнь.

Можно поздравить Москву и чеховский фестиваль с открытием самобытного, свежего и еще очень молодого таланта — 30-летнего режиссера из Праги Петра Лебла.

● Сцена из спектакля.

Место гибели — театр

Алена КАРАСЬ

Черно-белый мир немого кино, рафинированный и грубый одновременно, лишь на первый, невнимательный взгляд может показаться глумлением над Чеховым. Лебл же восстанавливает цветовую гамму чеховской пьесы, в которой предпочтение и в самом деле отдано черному и белому, на фоне которого является только красный цвет крови. Режиссер застает мир пьесы в момент его последней метаморфозы, когда символы давно превратились в бутафорские знаки. Мир, лишенный тайны, где роскошная природа воспринимается лишь фанерным пейзажем, театр, суеющийся в погоне за ангажиментом.

Спустя два часа, вызывающе длинные, утомительные для

"Чайка" Петра Лебла в двух отражениях

Молодой режиссер бросает вызов классике, переворачивает оригинал вверх ногами, перетряхивает его, переиницирует, ломает, корректирует — и ждет ответной реакции почившего гения. И что же? Он ее получает! Ведь нет ничего проще, взявшись за классическую, "пропылившуюся, пронафталиненную" пьесу, попытаться ее обновить с

ромодной" постановке до уровня собственных "глумливых мыслей" пьесу не низвел. И на его спектакле, к счастью, не посещают глубокие раздумья, кто чей сын, и кто чья любовница. Суть новаторства Петра Лебла не в этом. Он, очевидно, возмнил себя Треплевем,

про себя, надо полагать, режиссер, стараясь во что бы то ни стало от этого самого "МХАТа" откеститься.

Порыв понятный, но далеко не всегда благоволительный. Что, скажем, должны означать собой эти напудренные завитые парики,

простодушна почти до идиотизма — это и без антуража отлично передано актрисой. Почему персонажи выезжают на сцену по рельсам и периодически начинают двигаться точно марионетки, заведенные неведомой пружиной? Весь мир — театр, и люди в нем — актеры? Что

открыли на третьем часу действия! За полупрозрачной занавесью, без париков и "меловых" масок. Они были живые, и — вот оно, истинное новшество! — заставляли сочувствовать, и страдать, и жалеть. Мы увидели их глаза. Услышали голоса. И была боль, и сострадание (в какие-то секунды до "натуральных" слез). Как когда-то в том самом МХАТе, от которого только что этот спектакль так демонстративно-иронично отрекся.

Так что же — ради такого вот "переключения регистра", ради такого финала, простого и трагического и затеявшего весь этот изначальный "вопрекизм"? Ради того, чтобы в последнем акте вдруг понять, что победитель — все-таки Чехов? Что самое главное и самое важное в его "Чайке", в этой странной, ошеломившей современников еще сто лет назад, еретически-новаторской пьесе — люди? Живые люди с их любовью и нелюбовью, с безумной ревностью и отчаянием, с их талантами и бездарностью, несостоявшимися судьбами, несложившимся счастьем. Люди — те, кому не дают лошадей, кто выходит замуж без любви, чтобы только забыть любовь, кто целовал землю, по которой ходила изменившая возлюбленная, кто любит "еще сильнее, чем прежде" того, кто предал. Так, право, стоило ли в парики наряжать и на сцену "выкатывать", и белить, и ругаться, если за всем этим в конечном итоге все равно проступили живые лица, и это осталось самым сильным впечатлением от спектакля? И "умьгье" Нина и Треплев в потрясающей финальной сцене, и бритый, отрешенный, умирающий Сорин мне были куда ближе и больнее, чем в первой части они же, ненатурально-роковые, в гриме и париках.

А название этих заметок появилось не ради красного словца. В буклете к спектаклю названа пьеса, также поставленная в театре "На забрад ли" — "Усложненная возможность сосредоточения". Название это неожиданно пришлось кстати: не такую ли вот возможность предоставил нам Петр Лебл, сделав именно такой спектакль и именно по чеховской "Чайке".

● Аркадина — И. Котрбова, Треплев — К. Добры.
Фото М. ГУТЕРМАНА.

"Усложненная возможность сосредоточения"?

Марина МУРЗИНА

помощью чисто внешних приемов. Пускай все герои и героини будут с набеженными лицами и подчеркнутыми черной помадой губами, в белых (или черных) завитых париках! Они могут быть все голые, и, скажем, почему нет? — в перьях, и в тулупах. Ради новшества чего не сделаешь? Вот только вопрос — зачем, во имя чего, ради какого такого "высшего смысла"? Читаю в программке заявления Петра Лебла: "во время работы над постановкой меня посещала масса глумливых мыслей, как-то: Треплев — не сын Аркадиной, у Нины ребенок не от Тригорина, а от Треплева, Треплев застрелился не сам, его застрелила либо Маша, либо Медведенко, а ребенок Маши от Тригорина... И на все это в пьесе имеются ясные ссылки (вот бы узнать — какие же? — М.М.), но все это удастся доказать постановщикам, которые придут после нас. Лет через двести, триста. А наша постановка должна быть обычной, старомодной".

Спасибо за откровения. И за то, что нам не суждено дожить до окончательного прояснения всех перипетий интимной жизни чеховских героев. Впрочем, стоит ли так уж волноваться и загадывать, если "лет через двести-триста" зритель наконец прозреет и узнает, что ребенок Марианны не от Луиса Альберто, а от Хосе Игнасио, а Донна Сильвия об этом знала, но молчала, и вообще она сама в связи с Домом Педро. Пардон, я забылась: как раз сейчас по телевидению идет очередной мыльный сериал. Но он пришелся и кстати — стоит ли, право, копыта ломать, чтобы воспринять "еретически-гениальную" чеховскую пьесу на таком вот примитивно-фабульном уровне?

Режиссер, правда, в своей "ста-

которого, как известно, приводила в ярость рутинная старая театральная, то, как люди "едят, ходят, любят, носят свои пиджаки..." "МХАТ!" — то и дело презрительно бросает в зал Нина. Произносит она, а думает

набеженные лица и обведенные темной помадой губы у героев и героинь? Почему Нина при первом появлении в растянутом свитере и брюках, заправленных в сапоги? То, что она недалеко, безвкуса,

же, очень свежо! "Вы все изъясняетесь какими-то символами..." Но рядом — сцена вполне бытовой пьянки Маши и Тригорина с питьем водки из самовара, с икотой, с залитыми этой водкой брюками, переодеванием Тригорина в Машин халат. И — один к одному с ленкомовской "Чайкой" — столь же вульгарно решенная сцена "примирения" Аркадиной и Тригорина. И настурные слуги, которых явно многовато в спектакле, не в смысле количества, а в смысле присутствия и участия.

Вообще по поводу этого декоративно новаторского спектакля возникает слишком много "но" и "почему"? А по-моему, если речь идет об истинном новаторстве, их не должно быть вовсе, как у Някрошуса: да, необычно, да, неприятно, остро, странно, но — все воспринимается и любое архиновшество ясно, откуда взялось и на что в пьесе опирается.

Помню из последних новаторских "Чаяк" две — нидерландскую и японскую, их показывали в Москве. Первая — в современных костюмах, без декораций. Вторая — в кино, разыгранная среди сплошной воды. А впечатление в обоих случаях очень сильное и свежее. Можно поставить "Чайку" хоть на потолке, хоть в подполе, неважно. Важно, чтобы это было органично и открывало бы в пьесе новый свет (или тьму), а вот как, какими средствами это достигается — это уже дело режиссера, а не наше, брата критика.

Те, кто ушел со второго акта чеховской "Чайки", были неправы. Потому что именно во второй части спектакля и началось самое главное. Собственно, и началась для меня "Чайка" Петра Лебла в исполнении превосходных артистов — наконец-то мы их увидели,

Лебл
Петр

23-30 мая 1996

10/8/96